



А. В. АМФИТЕАТРОВ

Андрей Белый

Андрей Белый. «Серебряный голубь». Повесть в семи главах.
Книгоиздательство «Скорпион». Москва, МСМХ (1910).
Стр. 321. Ц. 1 р. 80 к.

I

До этой большой повести я был мало знаком с творчеством г. Андрея Белого. Давно, когда он только что начал свои литературные дебюты и заставил говорить о себе, я читал две его «симфонии». Они показались мне произведениями таланта несомненного, в котором юношеская нарочность, брыкливый задор и боевые кривляния декадентской школы, в то время еще не замерзшей в «академии», боролись с природным здравым смыслом и непосредственностью прямого, живого, умного наблюдения. Изпод мистических масок г. Андрея Белого выглядывало, — правда, мельком, но часто, лицо настоящего реалиста, и было оно, в мельканиях своих, настолько улыбочиво и лукаво, что казалось даже сатирическим. Так как г. Андрей Белый пошел по декадентским тропам дальше, чем кто-либо другой ходил, так как образность метафор и гипербол он сплошь и рядом доводил до соседства с пародией, сохраняя, однако, неизменно серьезное лицо, то многие объявили его чуть не сумасшедшим. Другие почитали его лишь ловким симулянтом литературного сумасшествия, так как оно в ту пору было в моде и обеспечивало рыночный шум и успех. Есть правило у психиатров, что симуляция истерии хорошо удается только субъектам в самом деле истерическим, и кто способен совершенно и хронически разыграть роль сумасшедшего, тот в самом деле к сумасшествию предрасположен. Г. Андрей Белый очень безумствовал в дебютах своих, но «в безумстве его было нечто систематическое»¹: чувствовался человек, который средства безумия своего отлично знает и пускает в ход очень хитро, метко и веско. Между строк его часто звенел хохот, беззастенчиво высмеивавший и публику поэта, и школу его, и даже его самого. Чи-

тая «симфонии» г. Андрея Белого, я испытывал иногда, в меньшем размере, те же впечатления, что пережил, когда впервые читал гениального «Пана» Кнута Гамсуна: злейшую сатиру ядовитейшего и надменнейшего из мистификаторов, которую наивное русское подражательство честно приняло за евангелие нового положительного идеала и — что глупостей-то натворило, следуя его заповедям-пародиям! — не сосчитать... Хорошо ли, нет ли подобное коварное творчество — оставим покуда вопрос этот в сторону. Речь идет не о Гамсуне, но о г. Андрее Белом. Кто бы ни был последний, во всяком случае в нем слышался человек больших способностей, пытливый, трепещущий хаосом каких-то идей, еще мутных и не определившихся, но ему не безразличных, еще плывущий по течению, как погнали его время и школа, но течением уже недовольный, барахтающийся, с потребностью плыть куда-то если не против, то хоть поперек волны.

Таким остался в моей памяти г. Андрей Белый первых «симфоний», которому я в 1904 году печатно предсказал, что в голом эстетизме декаданса ему долго не усидеть². Здравый смысл, реалистические тяготения, более того: наличность в его даровании прямо-таки публицистических и сатирических нот, — должны были увести поэта от расплывчатых зыбей самодовлеющего искусства на почву делания конкретного и целесообразного. Я несколько не удивился бы встретить г. Андрея Белого в 1910 году не только «взыскующим града» новофасонным народником, как являет его «Серебряный голубь», не только общественным дидактиком, хотя еще идеалистом, но даже — практическим художником откровенно утилитарного типа, проповедником прикладной тенденции, обратившей искусство в служебность. Это еще будет когда-нибудь, и скоро будет, потому что в «Серебряном голубе» уже начинается. К тому есть уклон во всей натуре г. Андрея Белого, и талант его по уклону этому должен был потечь, ибо там указаны ему естественное русло и линия наименьшего сопротивления. Утилитарная служебность творчества — совершенная, органическая невозможность для Бальмонта: для него цепкая стройность и разбросанность идейного хаоса, чуткость накапливающихся впечатлений и сменяющихся настроений и потребность о каждом из них петь, петь, как птица поет, — нормальное состояние. Она — рассудочная, академическая невозможность для цельного, холодного Брюсова, которого вся сила — в закованной непреложности форм, для которого явления — только предмет поэтической классификации и, затем, равноправного распределения по богатейшим витринам огромнейшего систематического музея великолепно, почти научно разработанных, ритмов и рифмы. Но г. Андрей Белый и не вольная птица, и не академик. В нем нет гордой силы одиночества и способности смотреть на действительность сверху вниз, с высо-

ты обособленного и тайного внутреннего «я». Игрывал и он сверхчеловека, но — не годился. Ему — не в лоне матери-пустыни и не на вершинах белизны неприступной, но на миру жить, и рано или поздно мир должен был уволочь его живое, подвижное, любопытствующее существо за собою. Щекотливый вопрос только именно вот что — рано или поздно?

Должен повторить свое признание, что в промежутке первых «симфоний» и «Серебряного голубя» я за г. Андреем Белым не следил. Не такие времена переживались русским обществом, чтобы досужно было наблюдать художественную эволюцию символов и эстетов. Самих последних-то времена эти так встряхнули, что иные перестали быть символическими и эстетскими и принялись отрешиваться от своих недавних проповедей, яко от Сатаны и всех дел его. Статьи г. Андрея Белого, встречавшиеся в газетах и журналах, не то что мне не нравились, но, каюсь, не могли даже ни нравиться, ни не нравиться, потому что я просто не в состоянии был ни одной из них дочитать до конца. Писал их г. Андрей Белый с умышленной неряшливостью языка, ломая русскую речь, ни в чем, казалось бы, пред ним неповинную, в такие чудовищные формы и выкрутасы, что —

Бывало, глупые его не понимали,
А ныне разуметь и умные не стали³.

Это было скучно и антипатично. Когда автор заставляет читателя искать мысли сочинения чрез борьбу с его языком, это — не аристократизм творчества, который всегда прост и ясен как день (Пушкин, Шопенгауэр), но аристократничанье, кабинетная надменность, своего рода мещанство в дворянстве, чванная претензия, которая, чтобы извинить себя, должна быть оправдана разве уж, в самом деле, огромно ценным содержанием. Статьи г. Андрея Белого содержание свое прятали так искусно, что после двух-трех столбцов терялось желание постичь смысл их. Может быть, мол, и богат клад, да себе дороже время — найти его. Притом неприятное впечатление оставляли эти статьи быстрою утратою г. Андреем Белым его резвой и яркой юности. Бывало, он и нелепость брякнет, да бодро, весело, живо, других собой рассмешит и сам на себя от души рассмеется. А теперь стал он «человек учительный» и тянет многоглаголивую канитель скучного умничанья, в котором, вдобавок, по существу-то сказать ему нечего, — и надо, значит, прикрывать отсутствие кушанья более или менее искусно прибранным гарниром. Ну, и — «ешь три часа, а в три дня не сварится»⁴. Вот — лежит предо мною томище г. Андрея Белого «Символизм». Перечитал человек на своем веку уйму и обрел великое книжничество. Но книга уже не расцветает в нем радостным цветком образной мысли, как в старые годы, когда

мерещился ему призрак Владимира Соловьева, бегающий по московским крышам. Ныне она тянет г. Андрея Белого к повелительности теоретических программ и к законодательству обобщающих формул. Насиделся он на Сионе-то литературном, наслушался глаголов, и горит в нем душа — пора ему свои собственные скрижали начертать для Израиля. Несомненно, что крупный талант, образование и «искренность в моменте», свойственные г. Андрею Белому, являются серьезными данными в пользу его кандидатуры на роль эстетического Моисея. Но вместе с тем г. Андрей Белый — в полном смысле слова, «тень прочтенной книги», как молвился угрюмым образом в одном унылом стихотворении своем К. Бальмонт⁵. К формулам г. Андрея Белого тянет, но нет в мягкой натуре его устойчивости, которая вынашивает стальную прочность формул, и потому насочинил он их много, а на скрижали зарубить не успел ни одной. Потому что едва родит он то, что ему кажется формулой, как уже новая книга дает ему новые сомнения, и, глядишь, новорожденная формула-то летит в корзину, и предшествовавшие собственные статьи свои автор должен оговаривать, что помещает их лишь «как образчики условного, психологически любопытного, обоснования» («Критицизм и Символизм»). То есть «друг мой! удивляйся, но не подражай!», как советовал сыну своему Кузьма Прутков⁶, единственный, если не считать Григория Сковороды, вполне самобытный философ русский. Прочитано и усвоено чудовищно много, и в уме, — более воспринимающем, чем творческом, и более отражающем, чем свет рождающем, — полезла, стена на стену, настоящая Ходынка чужих идей⁷. Спеша одна на смену другой, они безжалостно давят и топчут друг друга, и толкотню их убийственную некому упорядочить и унять, так как у г. Андрея Белого нет собственной твердой и ясной, постоянной идеи, которая выравнала бы хаос его эрудиции вокруг себя в стройный порядок. В самообманной погоне за таким идейным центром он хватается за свою математическую наследственность⁸ и, путем ее, достигает хоть внешних-то подобий равенения: устраивает бесчисленных рекрутов своей начитанности чисто механически, «по ранжиру», в порядок, который никуда не годится для идейной войны, но может сойти с рук и даже показаться серьезным на параде эстетических журналов. Таковы его статьи «Лирика и эксперимент», «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре», «Не пой, красавица, при мне» и прочие опыты чисто механического расчленения «Магии слов» (и под таким названием есть статья у г. Андрея Белого). Пущены в ход — алгебра в три алфавита, чертежи, рисунки, нотные знаки, статистические приемы, физические и химические формулы, чуть ли не высшая математика. Воистину, плинеодела-

ние египетское. А в конечных его выводах преподносятся читателю глубокие и новые мысли, вроде, например, следующих:

«Если же критика (для лирических стихотворений) существует, то она должна опираться на объективную данность; этой данностью является единство формы и содержания».

Тени не токмо Стоюнина, но даже Кошанского икают на том свете, Квинтилиан и сам «Аристотель оный, древний философ»⁹, язвительно ухмыляются: «вот так открыл Америку г. Андрей Белый! однако, и прогресс же там у них наверху!» А читатель, потративший долгое время и труд серьезного внимания на то, чтобы, под руководством г. Андрея Белого, прийти к выводу, который он сам с детства приемлет как аксиому, жалобно свищет: «Ах, на что ж было огород городить? ах, на что ж было капусту садить?» Нельзя не сознаться, что трагикомические старания г. Андрея Белого превратить Пушкина, Лермонтова, Фета и т. д., до самого себя включительно, в теоремы из «Малинина и Буренина»¹⁰, живо напоминают историю, как в чеховском «Репетиторе» гимназист VII класса Егор Зиберов решал с учеником своим Петей задачу: «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна» и т. д., а родителем купец Удодов наблюдал и не одобрял.

«— Ну, чего думаешь? Задача-то пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеевич.

Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил... понимаете? Теперь, вот, надо вычесть... понимаете? Или, вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... Подумайте...

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам. — Вот, извольте видеть...

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с... по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко»¹¹.

Г. Андрей Белый по математике собаку съел, и потому ему Удодов не указ: *procul este profani!*¹² Но прием-то остается все тот же. Для решения, которое легче легкого выкладывается на счетах, призываются этикие, например, штучки¹³:

«Создавая крупные по размерам произведения искусства, Ибсен стремился сперва затратить известное количество энергии

$$\left[\frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} + \frac{a}{b} = \frac{4a}{b} \right],$$

а затем повышал выправлением рукописи напряжение затраченных усилий

$$\left[\frac{4a}{b}, \frac{4a + a_1}{b}, \frac{4a + a_1 + a_2}{b}, \frac{4a + a_1 + a_2 + a_3}{b} \right]$$

и т. д. Гёте так писал «Фауста».

Если миновать алгебраированную формулу, слова здесь выражают мысль столь общую, ходовую и непреложную, что негде и поместить ее иначе, как в разряде «великих истин»: «солнце светит днем, а луна ночью», «черного кобеля не отмоешь добела» и пр. Ну, а как загнули плюсы, да знаки деления, да a_1, a_2, a_3 — весь жупел Егора Зиберова, — тут «великая истина» как бы и оригинальностью прирумянилась, и не у всякого Удодова достанет скептической смелости сказать старухе, что для сообщения таких новостей не стоило ей вставать из гроба.

А вот — не угодно ли еще страшнее:

«Если при стационарном творчестве t мы устанавливаем обратную пропорциональность между Q (количеством) и T (напряжением), то при возрастании творческого напряжения возрастает напряжение настроения; это значит: при напряжении Q как бы возрастает пропорционально напряжению этого творчества. Обозначая возрастания напряжения чрез X, X_1, X_2 , имеем

$$\left. \frac{X}{X_i} = \frac{Q}{Q_i} \right\} \text{ при } X = 1 \left\} Q = \frac{Q_i}{X_i}, \text{ где } X_i = t,$$

а тогда

$$Q = Q \cdot t, \text{ или } \frac{Q_i}{Q} = t,$$

или:

$$\frac{Q_i}{Q_{i-1}} = \frac{Q_{i-1}}{Q_{i-2}} = \frac{Q_{i-2}}{Q_{i-3}} = \alpha = \text{Const.}$$

α есть коэффициент возрастания Q при возрастании творческого подъема на условно-теоретическую единицу.

Имеем уравнение:

$$Q_i = Q_0 + Q_0 - \alpha t.$$

Вынося за скобки Q_0 , получаем:

$$Q_i = Q_0 (1 + \alpha t).$$

Эта формула аналогична формуле, выражающей закон Шарля и Мариотта: $p\nu = p_0\nu_0(1 + \alpha t)$, где α — коэффициент расширения газов».

Нет ничего более нематематического, как условное пользование внешними математическими приемами вне области точных исследований и наук. Насколько строга и безусловна математика у себя дома, настолько она податлива и любезно уступчива в гостях. Хватило бы только букв в латинском и греческом алфавите, а то, при произвольности заданий, свободе допущений и капризе коэффициентов, ими можно вывести и утвердить все что угодно. Не только формулу творческого напряжения («Напрягся — изнемог, потек — и ослабел»), аналогичную формуле закона Мариотта, но и — что «дважды два — стеариновая свечка», и рыночную стоимость сапогов всмятку, и статистику мимо едущих Андронов. Найдите в «Русском архиве» или «Русской старине»¹⁴ (имеется в обоих) рассказ о том, как — когда Дидро надоел публике екатерининского «Эрмитажа» своими вольнодумными рассуждениями, был приглашен на куртаг знаменитый математик Эйлер с поручением разбить великого энциклопедиста на его же собственном поле.

— Monsieur! — будто бы объявил Дидероту Эйлер, что называется, с места в карьер: — $\frac{(A+B)n^2}{x} = \text{Le bon Dieu existe!}^*$

Дидро, огорошенный, не нашелся что ответить и, рассерженный, уехал с куртага. Смеялись в «Эрмитаже» много¹⁵. Но... за кем же поле-то осталось? За атеистом ли, который Бога серьезно отрицал, или за апологетом, который Бога обратил в математическое двусмыслие и, в угоду праздному, невежественному двору, высмеял мнимо математическою шарадою и божественную идею, и собственную свою науку?

Люди желчные, пожалуй, назовут манеру г. Андрея Белого исчислять якобы математическими приемами отнюдь не математические понятия, методы и величины — шарлатанством. Я же думаю, что в них — на первом плане — элемент детской игры. Сидит за книжками умное «дитё», хотя и вероятно весьма бородатенькое уже — лет-то десяток, поди, — пишет г. Андрей Белый, — и играет в задачи с подсмотренным в задачнике решением, и радо-радехонько, что они всегда «выходят». Надоело «дитю» играть с числами и буквами, — дитё в ноты; ноты не в утеху, — он пирамиду «эмблематики смысла» из кубиков выстроит (Конт этакий), прискучила пирамида — пошел разрисовывать Пушкина, Майкова, Тютчева на «прямые крыши» и «опрокинутые крыши», «боль-

* Господь Бог существует! (фр.).

шие корзины», «малые корзины» и тому подобные ритмические, видите ли, фигуры. Все это — совершенно серьезно, и результаты — важности и целесообразности поразительной! Так, мы узнаем, что у г. С. Городецкого (ритмическое мерило «Сравнительной морфологии ритма») больших острых углов столько же, как у Алексея Константиновича Толстого, больших корзин столько же, как у Некрасова, квадратов столько же, как у Тютчева. Если, за всем тем, остроугольный, велико-корзинный и тютче-квадратный г. С. Городецкий не вышел ни Толстым, ни Некрасовым, ни Тютчевым, то уж пусть он сам на себя пеняет, а г. Андрей Белый не виноват. Счет его сделан, формула вылеплена, и правило Кузьмы Пруткова: «бросая в воду камешки, наблюдай круги, ими образуемые, дабы кто, увидев, не назвал твоего занятия пустой забавой»¹⁶ — выполнено в совершенстве. *Feci quod potui, faciant meliora potentes* *.

II

В один прекрасный день, когда отшумели «Вехи»¹⁷, г. Андрей Белый тоже отряс старый декадентский прах от ног своих и — как Василий Курочкин в старых стихах —

К России взор
Он устремил,
Поддевку сшил
И стал с тех пор
Славянофил...¹⁸ —

или, по крайней мере, «народофил». И даже «мужикофил», «простонародофил», или, в сокращении, «простофил», что, к сожалению, звучит по-русски несколько двусмысленно, а то — чем бы не термин для нового «фильства»? Тем более что проповедь «Серебряного голубя» именно и буквально есть зов религиозного «простофильства». Г. Андрей Белый не к опрощению жизни кличет, как Лев Толстой, не к смирению гордого человека, как Достоевский, не в народ, как люди семидесятых годов, — нет, он именно в простофильство влюбился, в ту мужицкую веру без рассуждения, в ту повелительную и темную, глухонемую веру-тайну, которой учителями и старцами являлись Константин Леонтьев — в церкви, Иван Яковлевич Корейша — в юродстве и Кондратий Селиванов — в секте.

«Знают русские поля, как и русские леса знают тайны; в тех полях, в тех лесах бородатые живут мужики и многое множество

* Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (*лат.*).

баб; слов немного у них; да зато у них молчания избыток; ты к ним приходи, ты научишься молчать: пить будешь ты зори, что драгоценнее вина; будешь питаться запахами сосновых смол; русские души — зори; крепкие, смольные русские слова: если ты русский, будет у тебя красивая на душе тайна, и что липкая смола твоё духометное слово; виду у него нет, а привязывается, и дух от слова идет благодатный, приятный; а скажи простое то слово — будто бы ничего в простом том слове и нет; слов тех не знают и вовсе те, что живут в городах, придавленные камнями: те, как приедут в деревню, видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы грязного мужика угрюмо насупленное лицо; а что то не мужик, а втайне благодетельству Кудеяров столяр, — им и вовек не понять, не узнать; они видят перед собой грязь, мрак, соломы кучу да из соломы бабью глупую болтовню; а что то краля Матрена Семеновна с устами сахарными, с медовой сладостью поцелуев, — все то от них скрыто».

Люди диковинного молчания и крепких смольных слов — великая надежда г. Андрея Белого: они всё приберут и вычистят на Руси, что насорил «дачник» Максима Горького¹⁹. Там — в простофильстве, в приютах «несказанных слов» — сойдутся все мечущиеся идеи нынешней Руси.

«Вспомнил Дарьяльский свое былое: и Москву, и чопорные собрания модничающих дам и дамских угодников — поэтов; вспомнил их галстуки, запонки, шарфы, булавки, вывозные, французские, и весь модный лоск последних идей; одна такая девица пожимала плечиками, когда речь шла о Руси: после же пешком удрала на богомолье в Саратов; похохатывал социал-демократ над суеверьем народа; а чем кончил? Взял да и бежал из партии, появился среди северо-восточных хлыстов. Один декадент черной бумагой свою оклеивал комнату, все чудил да чудил; после же взял да и сгинул на много лет; он объявился потом полевым странником».

Так как нечто подобное сим метаморфозам²⁰ пережил в писательстве своем и г. Андрей Белый, вчерашний модернист из модернистов, а ныне автор «Серебряного голубя», то мы имеем право считать эти красноречивые тирады его написанными *pro domo sua**. Что же? В час добрый. Повторяю: оно не неожиданно, и рано или поздно должно было что-нибудь в этом роде случиться. В простофильство так в простофильство, в поля так в поля! Но — опять в том-то и дело, что — рано или поздно. И боюсь, что случилось не рано, а поздно, и даже очень поздно.

Читая «Серебряного голубя», я припоминал «симфонии» и не мог не заметить громадной эволюции, совершенной г. Андреем

* в защиту своего дома (*лат.*), т. е. о себе.

Белым не только в идейной области, — пережил ее в нем и художник, и, к сожалению, тяжело, трудно, не без уронов и не к выгоде своей пережил. Талант г. Андрея Белого утратил главное достоинство первых трудов его: свежесть, самобытное, яркое «я», которое кричало, как шальное, кувыркалось, прыгало, голосило хриплым басом, запускало в небеса а-на-на-сом²¹, — совершало тысячи дикостей, нелепостей, но — от полноты души и чистого сердца, а потому, в неуклюжей и брыкливой искренности своей было интересно, иногда увлекательно, часто симпатично. В «Серебряном голубе» авторское «я» стертое, больное, пришибленное, с вывихнутою ногою и — потому — почти никогда не самостоятельное: либо ковыляет на теоретических костылях, либо ведет его, под белые ручки, какой-нибудь сторонний автор-поводырь. Идет г. Андрей Белый, задыхается, спотыкается, а делает вид, будто пляшет и — молодец молодцом.

Основные черты вывихнутого дарования сохранились, но пропорции их переместились — и не в пользу таланта. В лукавстве «систематического безумия» погасло много безумия и прибавилось уж чересчур много системы. Способность симуляции настолько переросла природную истерию, что теперь плохо верится в последнюю даже тогда, когда она — изредка — как будто настоящая. Главный и органический недостаток «Серебряного голубя» — именно холодная рассчитанность и почти полное отсутствие живой, нутряной непосредственности. Г-н Андрей Белый все время горячится, но горячится в холодном духе, с оглядкой и проверкой громословия своего. Треска много, а молнии нет. Психологические слова и ситуации все использованы, а задушевности — нет, хоть посылай на базар покупать. А сюжет, мутный и страстный, ее требует, во что бы то ни стало. Мистические претензии г. Андрея Белого громадны и, чтобы оправдать себя, крови, настоящей алой крови из сердца жаждут. Но у г. Андрея Белого и сердце стало белое — износил он его в трениях декадентской книжности, сделалось оно без кровинки. Как же быть-то? Сюжет крови просит, а крови нет. Пошевелил мозгами, составил химическую формулу и — подменил кровь сердца клюквенным морсом. «Здесь торгуют наивностями всех сортов и лучшего нюрнбергского производства».

Претензии г. Андрея Белого громадны. Он задался целью не более, не менее как сочинить новую секту мистического экстаза, о чем и предупреждает в предисловии: «Голубей, изображенных мною, как секты, не существует; но они — возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле голуби мои вполне реальны».

Это авторское предпослание, или предостережение, весьма вредит повести, так как сразу разрушает под нею фундамент бытовой

действительности. И без того уже хлыстовщина, на близость которой с «голубями» намекает г. Андрей Белый, — вопрос темный, дело не изученное. Все ее художественные изображения до сих пор глухи, догадочны, поверхностны, недомолвочны, — смесь полицейского протокола с бабьей сказкой и трактирного анекдота с лирикой псалмов. Единственный веский интерес этих изображений — в тех религиозно-бытовых картинах и подробностях, материалах к наведению, о которых автор, совмещая в себе тогда художника и историка, вправе сказать: так было, это видели, тому имеются такие-то и такие-то свидетельства и доказательства, это — прочный фактический фундамент; попробуем выстроить на нем, по вероятности, свое догадочное здание.

Г-н Андрей Белый сразу отрекается от сектантской действительности и обещает писать сектантскую небылицу в лицах. Это сразу же обращает «Серебряного голубя» в родню проповеди того католического патера, который, уж очень растрогав прихожан картиною страданий какого-то мученика, затем успокаивал слушателей:

— Не рыдайте, дети мои! Быть может, это было уж и не так страшно, как я вам рассказывал, я даже уверен, что не так страшно. А очень может быть даже, что этого и вовсе не было!

И вот, какие глубины страстей ни открывает нам затем г. Андрей Белый, читатель никак уж не может отделаться от первого впечатления:

— А очень может быть, что этого и вовсе не было?

Что же было? Был лукавый каприз талантливого писателя, с большим, хотя весьма искусственным, книгами, а не жизнью созданным словарем, сочинить от себя новый хлыстовский толк, ибо — «хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, не адекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов», а следовательно, кристаллизуй формы эти и впредь, сколько влезет, по вольности дворянства и правам *licentiae poeticae* *.

Свой опыт новой хлыстовской кристаллизации г. Андрей Белый считает «вполне реальным». Возможно ли реальное изображение небылицы в лицах? Очень возможно. Примеры тому — Эдгар По, Мопассан, Бальзак, многие страницы Гоголя, Достоевского. Но условиями такого реально-фантастического творчества, необходимыми гораздо более даже чернил, пера и бумаги, являются две силы, к сожалению, мало ведомые г. Андрею Белому: совершенное практическое знание предметов, которые подсказывают автору его иллюзорную мороку; и совершенное проникновение автора иллюзией так, чтобы она вошла в плоть и кровь его и живую бы

* поэтической вольности (*лат.*).

кровью с читателем заговорила. Если же в авторе живой крови нет и приходится фальсифицировать ее клюквенным морсом, то и иллюзия не достигнет искренности, составляющей душу и суть художественного реализма. Она сложит лишь более или менее замысловатое литературное упражнение в более или менее искусно сочиненных сценах и подобранных словах и хотя иногда может очаровать податливого читателя внешним эффектом своим, но — неумолимый голос правды никогда не позволит вам забыть:

— А может быть, этого никогда не было?

Чтобы опровергнуть этот неприятный голос, писатели, вынужденные подменять кровь сердца клюквенным морсом, обыкновенно начинают скептически относиться к самостоятельным средствам своего таланта и ищут поддержки им в сознательной подражательности, облагороженной в наши дни льстивым псевдонимом «стилизации». Стараются, по возможности, близко подражать какому-либо писателю, в котором кипящая сила крови была настолько ярка и несомненна, что, схватив внешность ее проявлений, уже ею одною можно ослепить умы не весьма разборчивого и чуткого большинства, а иногда, пожалуй, и себя самого. В «Серебряном голубе» г. Андрей Белый — постоянный, неутомимый, многосторонний отражатель и подражатель. Сейчас он — Кохановская, сейчас — Левитов, тут — Достоевский, здесь — и больше, и чаще всего — Гоголь. Г-н Андрей Белый — писатель опытный и способный, с литературным слухом: лишь бы над ухом камертон внятно звякнул, а петь он будет аккуратно в надлежащем тоне, редко фальшивя, и без чрезмерных детонировок. Поэтому его подражания и отражения часто очень похожи, близки и ловко пригнаны, но собственное лицо автора ими совершенно заслонено. Приведенная выше смешная фраза, что «хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, не адекватно существующим кристаллизованным формам», является одним из немногих образцов, показывающих нам, как теперь выражается «по-русски» г. Андрей Белый, когда он самостоятельно и всерьез мыслит. В повести же — сплошь литературный маскарад и писательские святки!

Как все внешние подражатели, г. Андрей Белый достигает сходства тем нехитрым способом, что схватывает наиболее резкие, угловатые черты своих оригиналов и, копируя их недостатки, вызывает в читателе негативом своим дополняющее воспоминание соображение о позитиве. Читая первую главу «Серебряного голубя», — «Село Целебеево», — не раз улыбнешься:

— Фу ты, черт возьми! Вот так — «под орех»! Гоголь! Настоящий Гоголь! Так словом-то и вьется, так и плетет кружева, и фертом ходит, и заигрывает, и козыряет юмором, и метафоры, и отступления к читателю, и гиперболы, и уподобления, и санти-

ментальное воркование, и дидактический пафос... ну, Гоголь же; как есть; живой Гоголь!

Но в то же время почему-то вам неловко и стыдно за этого «живого Гоголя». То и дело кажется, будто г. Андрей Белый, па-радно одевшись в Гоголев мундир, задался хитрою заднею целью доказать, что г. В. Брюсов был совершенно прав, когда в своем «Испепеленном» сурово пытался снять с Гоголя лавровый венец его²². Решительно все неприятные, коробящие, отрицательные черты, вся изнанка Гоголя — все чрезмерности его лирического красноречия, весь дурной тон его реторики, все безвкусье его дидактики, вся вычурность и приподнятость его торжественных описаний — все это у г. Андрея Белого налицо и полностью. Но, увы! тем — на изнанке — и кончается сходство. Загримироваться Гоголем смог, — подарить нам не то что нового Чичикова, Манилова, Хлестакова, Городничего, а хоть малюсенький «перл создания» уровня Держиморды какого-нибудь, либо приказчика маниловского, — не осилил. Торчит длинный Гоголев нос, висят Гоголевы волосы, видна Гоголева золотуха, но не работает Гоголев мозг, не греет Гоголева душа. И чувствуем мы себя в «Серебряном голубе» не в жизни, но в паноптикуме. И отношение — не как к жизни, но — как к восковым фигурам паноптикума: — Ловко, да — не настоящей! Когда Гоголь, уже разрушив талант свой, склонился к мистическому безумию и вздумал отрицать реальную типичность «Ревизора» и истолковывать его в символ, Щепкин резко протестовал — крикнул ему, автору, в письме: неправда! это было!.. когда я умру, хоть козлов из Городничего и Земляники делайте, а пока жив, не позволю: они — наши, они — типы, они — живые люди²³. Когда г. Андрей Белый, наоборот, пытается уверить нас, что его вытканые «под Гоголя» узоры «вполне реальные», читатель пожимает плечами.

— А может быть, этого не было?

И — вот поди же ты! В «Мелкого беса» верим, в «Городок Окуров» верим, в Симбирск Алексея Н. Толстого верим, в «Деревню» Бунина верим²⁴, а перед «Серебряным голубем» ежимся:

— Ох, не было этого! ей-Богу, ну, не было!

Великий талант Гоголя знал глубокую тайну, как спасти веское слово юмора своего от вульгарности и пошлости. Знали ее и многие большие и средние писатели гоголевской школы, «вышедшие из Шинели»²⁵. Но от внешних подражателей она всегда ускользала и, обыкновенно, заводила их в трагикомическое положение самодовольных рассказчиков, думающих смешить анекдотом, не замечая, что смешны-то не анекдоты их, но сами они смешны. Если еще автор-подражатель наивен, свеж и подделывает Гоголя без сознательного умысла, просто по первобытной начитанности, то это добродушие «начинающего», неведение, что тво-

рит, иногда спасает его. Таков, например, Левитов — в дебютной своей «Сельской ярмарке», вылупившейся из «Повести о капитане Копейкине», как цыпленок из яйца²⁶. «Сельская ярмарка» груба и вульгарна, но — так сказать, вульгарна по добросовестному убеждению обожателя, и эта добросовестность извинительно выручает ее слабые места и оттеняет ими сильные, в которых, сквозь корку рабского подражания, уже прорывается самостоятельный авторский талант. Но Андрей Белый — не темный, полубразованный, пьяный семинарист, как Левитов: это — начитанный интеллигент, изучивший сотни писателей и тысячи книг, пишущий о законах литературного языка и сам их дающий. Уж именно — «Теперь все законы пишут, мой Андрюша тоже целый волюм законов написал!», как жалуется в «Воине и мире» старый князь Болконский²⁷. В статьях своего «Символизма» г. Андрей Белый отнюдь не Моцарт какой-нибудь, «гуляка праздный»²⁸, но ученый, механически ученый Сальери: рассекает поэзию, как труп и, мы видели, буквально алгеброй поверяет ее гармонии. Это уже не бессознательный подражатель, которого стихийно потянул за собою авторитет громадного таланта, — это нарочный, типический стилизатор. И в этом напрасном качестве должен он разделить роковую судьбу едва ли не всех русских стилизаторов вообще, а подражателей неуловимого Гоголя в особенности: оригинал давит его своим соседством, как громадная башня — фарфоровую куклу. За два, за три действительно весьма удачных брызга «под Гоголя» поминутно приходится платить необъятными лужами такой, например, пошлости:

«Вот и все, что было памятного в эти дни — да: что ж это я про самое главное приключение ни слова? Пardon-с: запомнил. Это, конечно, про велосипед: ах, что бы это значило, чтобы такое случилось с попом? Но прежде всего про велосипед (это у попа был велосипед); не у этого попа, а у того, который — ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь, а велосипед, я вам доложу, прекрасный: молодец — поп, что у него есть такая машина: игрушечка-велосипед — новенький, аккуратный, с тормозом, отличнейшая резина и весьма успешный руль-с».

Славная бекеша у Ивана Ивановича!²⁹ Но... «ах, что бы это значило», как выражается г. Андрей Белый, что бекеша-то у Ивана Ивановича хороша и сразу дает читателю настроение на целую повесть, а велосипед попа — «не этого попа, а того, который — ну, да вы уже сами догадываетесь, о ком идет речь» — крутится колесами своими перед читателем неизвестно зачем, долго-долго и укатывает как прикатился, — пошляк-пошляком. «С трезвонном, срамом и перцем» — уверяет г. Андрей Белый. Трезвон-то есть, и сраму довольно, но — где перец, это тайна автора.

Есть в «Серебряном голубе» страницы, которые, из-за усердия г. Андрея Белого к стилизации, можно принять за умышленные пародии на Гоголя и, иногда, пресмешные.

«Когда тебе приглядится (?) темноглазая писаная красавица, со сладкими, что твоя наливная малина, губами, с личиком легким, поцелуем не смятым, что майский лепесток яблочного цветка, и станет она твоей любой, — не говори, что любя эта — твоя: пусть не надышишься ты на округлые ее перси, на ее тонкий, как воск на огне, мягко в объятье истаивающий стан; пусть ты и не наглядишься на ножку ее, беленькую, с розовыми ноготками; пусть пальчики рук перецелуешь ты все, и опять перецелуешь, сначала, — пусть будет все это, и то, как лицо твое она тебе закроет маленькой ручкой и сквозь прозрачную кожу увидишь тогда на свету, как красным сиянием в ней разливается ее кровь; пусть будет и то, что не спросишь ты ничего более от малиновой (?) своей любви, кроме ямочек смеха, сладких уст, дыма слетающих с чела волос да переливчатой в пальчиках крови: нежна будет ваша любовь и тебе, и ей, и более ничего не попросишь у своей любви; будет день, будет жестокий тот час, будет то роковое мгновение, когда это поблекнет поцелуем измятое личико, а перси уже и не дрогнут от прикосновения: это все будет; и ты будешь один с своей собственной тенью среди выжженных солнцем пустынь и испитых источников, где цветы не цветут, а переливается сухая на солнце кожа ящера; да еще, пожалуй, черного увидишь мохноногого тарантула дыру, всю увитую паутиной... И жаждающий голос твой тогда подымется из песков, алчно взывая к отчизне.

Если же любя тебе иная, если когда-то прошелся на ее безбровом лице черный, оспенный зуд, если волосы ее рыжи, груди отвисли, грязны босые ноги, и хотя сколько-нибудь выдается живот, а она все же — твоя любя, — то, что ты в ней искал и нашел, есть святая душа отчизна: и ей ты, отчизне ты, заглянул вот в глаза, и вот ты уже не видишь прежней любви; с тобой беседует твоя душа, и ангел-хранитель над вами снисходит, крылатый. Такую любовь не покидай никогда: она насытит твою душу, и ей уже нельзя изменить; в те же часы, как придет вожделение и как ты ее увидишь такой, какая она есть, то рябое ее лицо и рыжие космы пробудят в тебе не нежность, а жадность; будет ласка твоя коротка и груба: она насытится в миг; тогда она, твоя любя, с укоризною будет глядеть на тебя, а ты расплачешься, будто ты и не мужчина, а баба, и вот только тогда приголубит тебя твоя любя, и сердце забьется твое в темном бархате чувств».

Да... бывает! что и говорить! «Страшен тогда Днепр!»³⁰

Точно так же, как обрабатывает Гоголя, г. Андрей Белый стилизует себя и под других крупных писателей, которых тон, зна-

ние и язык кажутся ему подходящими к его теме. Угодно вам Мельникова-Печерского?

«На голову они там себе поют, парни: в такие ночи сухие кусты ползают по деревне, обступают село воющей стаей; красная баба Маланья летает по воздуху, а за ней вдогонку кидается гром.

Кто же, кто, безумец, всю ночь туда ходил по селу, обнимался с кустом да, зайдя в чайную лавку, со всяким сбродом прображничал и не час, и не два? Пьяный, — кто потом провалялся в канаве? Чья это красная рубашка залегла под утро у пологого лога, у избы Кудеярова-столяра? Чей посвист там был, и кто из избы на посвист тот отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму?»

Угодно Левитова? Сделайте одолжение!

«Врезалась она (дорога) сухой усмешкой в большой зеленый целебевский луг. Всякий люд гонит мимо неведомая сила, — возы, телеги, подводы, нагруженные деревянными ящиками с бутылками казенки для “винополии”; возы, телеги, народ подорожный гонит: и городского рабочего, и Божьего человека, и “сицилиста” с котомкой, урядника, барина на тройке — валом валит народ; к дороге сбежались гурьбой целебевские избенки — те, что поплоче да попоганее, с кривыми крышами, точно компания пьяных парней с набок надвинутыми картузами; тут и двор постоальный, и чайная лавка — вон там, где свирепое пугало шутовски растопырило руки и грязную свою из тряпок кажет метелку — вон там: еще на нем каркает грач. Дальше — шест, а там — поле пустое, большое. И бежит, бежит по полю белая да пыльная дороженька, усмехается на окрестные просторы, — к иным полям, к иным селам, к славному городу Лихову, откуда всякий народ шляется, а иной раз такая веселая компания прикатит, что не дай Бог: на машинах — городская мамзель в шляпенке да стрекулист, или пьяные иконописцы в рубашках фантазиях с господином шкубентом (черт его знает!). Сейчас это в чайную лавку, и пошла потеха; к ним это парни целебевское подойдут и, ах, как горланят: “За гаа-даа-ми гоо-ды... праа-хоо-дя-т гаа-даа... пааа-ааа-гиб яая маа-аа-ль-чии-ии-шка, паа-гии-б наа-всии-гдаа...”»

Угодно Глеба Успенского? Не без этого товара в нашей лавке:

«А во фруктовом саду Аннушка-Голубятня шепталась с Сухо-руковым, с медником:

— Едак, Анна Кузьминишна, оставлять не след: никак, етта, нельзя; с иестава часа, коли оставить, нам капуть всем...

— Ох!

— Как ни охайте, а с ним порешить придется...

— Ох, не могу!

— Моей политичности вы доверьтесь: я еще не встречал чело-века умнее себя...

Молчание.

— Как-никак, а уж вы ему всыпьте.

— Не мог я всыпать...

— Нет уж, вы всыпьте: опять говорю — политичнее себя не встречал...

Молчание.

— Так значит так?»

Угодно Лескова? Пожалуйте!

«— Господу Богу помолюсь, молодцу поклонюсь: молодец, молодец — в чистом поле Лащавина; на Лащавине дуб; во дубу — дупло; во дупле избирайте подруг всяких-провсяких: гноевых, лесовых, крапивных, подпивных; во дубу — залатое галье, залатое ветие; во том ветии тала, яла, и третья вересоч — сестры, полусестры, дядьки, полудядьки... Уууу...

Хлынул изо рта света поток и — парк; красным петухом побужало оно по дороге вдогонку Дарьяльскому.

Идет к дубу Дарьяльский на свидание с Матреной, уже забывает он свой разговор на пруду; у ног его шепчет струйка: “Все-все-все расскажу, все-все-все, все-все-все-в...”

Что за странность: большой красный петух под луной перебежал ему дорогу: крестится; идет по опушке леса. Вдали перед ним Лащавино: там и дуб и Матрена.

Пришел — пусто в дупле: Матрены еще нет.

А столяр, скрюченный на лавке, продолжает безумствовать втихомолку:

— Огонь, огонь видючий,
Огонь, огонь летучий...»

Не худо?? Да. «Даже при дневном освещении трудно отличить от настоящих!», как печатает свои объявления торгующая фальшивыми бриллиантами фирма «Тэт»³¹. И всего грустнее в этой большой и толстой книге, что совсем не надо рыться по ее страницам, чтобы находить фальшивые «Тэты». Раскройте повесть где угодно — в начале, в середине, в конце, — между строк выльзнет на вас какое-либо знакомое, знакомое литературное лицо, только — искаженное опошляющею, вульгарною гримасою. И к последней-то и сводится вся творческая роль г. Андрея Белого в процессе «стилизации». Не то обещал когда-то. Жаль.

Г-н Андрей Белый твердо знает правило, что в художественном литературном произведении каждое действующее лицо должно говорить своим особым языком, свойственным его типу и отличающим его от других лиц. Эта задача очень трудная; даже между великанами русской литературы не все справлялись с нею безупречно. Но ее можно обратить и в чрезвычайно легкую. Стоит только истолковать правило в том смысле, что оно имеет в виду не внутренний строй, дух и содержание языка, а внешние его приме-

ты: акцент, заикание, картавость, шепелявый говор, óкание, зю-зюкание и т. д. В большом количестве, это — перенос на бумагу устного творчества Горбунова, Павла Вейнберга, Андреева-Бурлака и прочих знаменитых и ходовых рассказчиков из народного быта, еврейского, армянского, финского, греческого и т. д. Серьезные художники-писатели избегают этого утомительного приема. Лев Николаевич Толстой в последующих изданиях «Войны и мира» вычеркнул картавость Васьки Денисова, в первом издании растянутую по всему роману. Чехов, рядом с Толстым величайший мастер искусства облечь каждое действующее лицо в обособленную речь, всегда лишь предупреждает о свойствах его говора (как и Толстой теперь в случае Васьки Денисова), а затем слова его передаются в обычной орфографии; читателю предоставляется помнить и воображать акцент, тон, голос действующего лица по силе общего рисунка, по глубине общего впечатления от предложенного типа. Ремарки, характеризующие героев «Ревизора», незримо сопровождают их все время, покуда вы читаете комедию. Но представьте себе ремарки Гоголя перенесенными в печатный текст: и зуб со свистом, и бас Ляпкина-Тяпкина «с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом, как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют»³². Теперь эти ремарки стали выполнять на сцене, — и то, говорят, скверно выходит и мешает общему впечатлению комедии. В печати же все это звукоподражательство совершенно невыносимо и — «в сильнейшей степени моветон»³³.

К сожалению, г. Андрей Белый «моветоном» этим не только не брезгует, но даже заполняет звукоподражательством целые страницы, вследствие чего иные главы повести прямо-таки трудно и раздражительно читать. Стоит явиться на сцену генералу Чижикову, и пошла трещать картавая машинка:

«— Остгяк!.. Ужасный остгяк!..

— Ну?

— Невероятный, чудовищный остгяк:

— Ну, ну??

— В одном благогодном семействе подьезает к голяю и, знаете, эдакую гуйяду... “Иггаете?” — спгосий я хозяйка... — “Иггаюсь”. — “Ах, сыггайте, пожалуйста...” И пгедставьте себе, что он ответий?

— ???...

— Судагыня, я иггаю только... — гязами.

— Хи-хи!

— Ха-ха-ха-ха!

— Кхо?

— Чеавек! Бегогоговеньких!»

Лев Толстой вычеркнул картавость Васьки Денисова, и Васька Денисов от того ни на иоту не потерял своей типической правды

и силы. Но у г. Андрея Белого картавость, пришепетыванье и безобразный говор действующих лиц — единственный способ придать им характер и жизнеподобие. Подставьте в эти «гуйяды», вместо условной авторской орфографии, общепринятую, и вы удивитесь, до какой степени суха, однотонна, не характерна, сама по себе, речь героев «Серебряного голубя», до какой степени бессилён автор характеризовать кого-либо словом, из уст исходящим, помимо этого первобытного, опять-таки механического и рассудочного приема.

Что скучно, надоедливо и мертво как характеристика индивидуальности, еще противнее, когда распространяется в характеристику коллектива. Писатели, злоупотреблявшие звукоподражательным приемом ради этнографических характеристик, не оставили хорошей памяти в русской литературе и не заняли в ней почетных мест. Наиболее типический пример — Всеволод Крестовский, который — весь в этом, когда пишет поляка или еврея.

Скажут: а как же народники шестидесятых и семидесятых годов? Левитов? Слепцов? Решетников? сам Глеб Успенский?

— Так что же? И у них этот недостаток остается недостатком, не стал достоинством? Но у шестидесятников и семидесятников имелись смягчающие вину обстоятельства, которых современный писатель лишен. Во-первых, у всех у них, кроме художественных задач, имелись утилитарные и публицистические, с которыми эта уловка поверхностного юмора больше ладит. Ведь все названные — творцы русской художественной этнографии: работники племенной, областной и сословной дифференциации того искусственного и собирательного русского народного типа, который достался им в наследие от «людей сороковых годов»³⁴; среди последних-то, строго говоря, настоящий народ, без маленькой хотя бы, маскарадной прикрасы, виден едва ли не у одного Писемского. Иногда этот недостаток становился необходимым: нельзя было написать «Подлиповцев»³⁵ говорящими общим русским языком, потому что и весь-то смысл этой потрясающей вещи: смотрите! перед вами, в XIX веке, люди, братья, русские — и дикари! настолько дикари, что даже и язык-то у них застрял где-то на полпути от гориллы к человеку. Народническая манера печатной звукоподражательности выросла по соседству с общим этнографическим исследованием русского мира во второй половине пятидесятых и в начале шестидесятых годов. В век, когда по Руси побрели «калики перехожие», как нарисовала их в карикатуре насмешливо-сочувственная «Искра»: Максимов, Левитов, Слепцов, Якушкин, Юзов и др.³⁶ Когда Павел Якушкин записывал псковские песни³⁷ с правописанием:

Лителя пава чириз три двора,
Уранила пава три пира...

Во-вторых, народники сами отлично понимали, что прием этот — в основании своем — все-таки фальшивый, и пользовались им лишь как неизбежным злом своего литературного века. Чем шире и крепче рос великий талант Глеба Успенского, тем реже и реже прибегал он, ради юмористических целей, к косноязычной орфографии случайных говоров. Сравните-ка в этом отношении «Нравы Растеряевой улицы», которыми начинается первый том сочинений Глеба Успенского, и «Вольных казаков», которыми он кончается³⁸. Это не было главным и определяющим в письме народников, хотя иные пародисты и цеплялись к этому, как к главному и определяющему. А те из них, в ком оно было главным и определяющим, либо очень быстро сошли на нет, стали не нужны и стерлись (Николай Успенский), либо заскучали и обратились от этнографической словесности к общеинтеллигентской (Слепцов), либо, наконец, сползли в подворотню литературы и сделались в ней присяжными смехотворцами, письменными конкурентами изустных Горбунова, Павла Вейнберга и др. (Лейкин). Любопытно, что целый ряд писателей, даже и в то время, умел писать о народе наинароднейшим языком, совершенно не прибегая к звукоподражательству: Писемский, Островский и особенно замечательный, так как специальный, пример — Мельников-Печерский. Любопытно также, что и в наши дни серьезные писатели-художники, обратившиеся к жизни народа, не нуждаются в звукоподражательных приемах: их нет ни у Максима Горького, ни у Бунина в «Деревне», ни у молодого Алексея Н. Толстого. Г-н Андрей Белый здесь перенародничал всех народников — все равно как цветистостью изощренно выкрученного слога своего забил и за пояс заткнул старуху Кохановскую: ту самую, о которой Щедрин говорил, что если ее народные сочинения почитать вслух мужику, так он подумает, что вы сообщаете ему заговор от лихоманки³⁹.

И в-третьих, раз уже прием этот пускается в ход, то, чтобы не рьяшлывая изысканность его не коробила читателя, не раздражала его потребностью хотя бы малой догадки о том, что догадки не стоит, — писатель опять-таки должен быть и совершенным знатоком народного говора, ему понадобившегося, и, опять-таки, глубочайшим лириком ли, юмористом ли — мощным литературным темпераментом, который материал свой гнет, как хочет, куда хочет, и все выходит хорошо; который полусловом, с ветра схваченным, властен и умеет сказать больше, чем талант средней величины скажет целою главою... Салтыковское «Ен достани-ит!» сделалось в некотором роде национальным девизом. Да, вот, подите-ка вы, погуляйте-ка вокруг Салтыковых-то, Успенских, Левитовых, пощипите-ка их тайн: почему *quod licet Iovi, non licet bovi**, и что

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

Салтыкову, Успенскому и Левитову очень можно и кстати, то г. Андрею Белому совсем некстати и никак нельзя? Почему г. Андрей Белый хочет быть народным, как Левитов, который народен даже в подлейшем московском трактире, и оказывается только трактирным, — трактирным даже в лучшем просторе народа своего?

«Мааа-лиии-тес-сь хаа-аа выы, женщины,
За ваа-аа-ших сыы-нааа-веей...

— И видел я, братцы мои, сон: у меня три халавы, и каждая халава на свой образец: одна псиная, а другая щучья; и только одна собственная; и те халавы про самих оспаривают себя; и от того трешшали мозги — оченно...

— Ну, и ты тилилюй же!

— А што?

— Быдлом тебя пабачить.

— Хошь Столб ты и Верный, д'язычок твой неверный; сердце — золото, д'язычок — медный пятакоч».

Столь народен русский язык г. Андрея Белого, что даже русской азбуки для передачи его не достало и пришлось занимать французские апострофы!

В превосходном старом рассказе Писемского «Комик» одно из действующих лиц, русский барин французского воспитания, из последних наших провинциальных «виконтов», ставит для «благородного спектакля» «Женитьбу» Гоголя и играет в ней Степана. Писемский описал, — как «виконт» вымазал лицо сажею, ходил с раскачкою, как пьяный, и всем за кулисами, для практики, говорил грубым голосом: «тово», «Ванюха», «малый». «Виконт» думал, что он необыкновенно народен, а зрительный зал тосковал в недоумении, и — вместо аплодисментов — какой-то подгулявший чиновник, из задних рядов, в конце концов рявкнул злополучно-му народному виконту:

— Браво, господин виконт! Поди-ка сюда, я тебе манжеты-то оборву...⁴⁰

Боюсь я, что простофильская архинародность, которой предался в «Серебряном голубе» г. Андрей Белый, не уходит глубже маркизовой, и результаты ее одни и те же: видит зритель торчащие на ряженном «Ванюхе» и «малом» манжеты, скучает их притворством, раздражается и весьма не прочь «манжеты оборвать». Тем более что в качестве героя повести г. Андрей Белый проводит перед нами хотя и не маркиза, но тоже манжетника совершеннейшего. Господин, который «такое прошел ученое заведение, где с десяток мудрейших особ из года в год нивесть на каких языках неприличнейшего сорта стишки вместо наук разбирать изволят — ей-Богу! И охотник же был Дарьяльский до такого сорта стишков,

и сам в них преуспевал; писал обо всем: и о *белолилейной пяте*, и о *мире уст*, и даже... о *полиелее ноздрей*. Нет, вы подумайте: сам выпустил книжицу, о многих страницах, с изображением фигового листа на обертке...» и т. д., и т. д. Узнаем от г. Андрея Белого, что Дарьяльский изучал сперва Маркса, Лассалья, Конта, а потом Бёме, Экхарта, Сведенборга, а затем одновременно богомольствовал в Дивееве и Оптине и погружался в языческую старину с Тибуллом и Флакком. Словом, обер-интеллигент и архибарчонок чистой воды: десять лет назад — декадент, три-четыре года назад — порнограф, сейчас — не то кающийся по «Вехам», не то гогочущий нутряным смехом «Кривого зеркала»⁴¹, алкоголик по призванию и половой неврастеник.

В фигуре Дарьяльского чувствуется у г. Андрея Белого боль надрыва, дорого автору стоящего. Злобные издевки, которыми он осыпает этого «эстетического хама», то и дело срываются в субъективные рыдания. Нелегко должны были даваться г. Андрею Белому хотя бы такие покаянные строки — проклятие целому поколению молодых стариков, ни за что ни про что искаживших себя в непрерывном самовлюбленном измышлении, как им вяще изломиться:

«Для многих Дарьяльский был помесью запахов сивухи, мускуса и крови... с не более, не менее как нежной лилеей, а эти многие напоминали ему ни для чего не годную ветошь.

— Ах, шельма эдакая! — сказала про него утонувшая в кружеве барыня, готовая с кем угодно что угодно проделать в любой час ночи и дня. Начнем со слов: слова Дарьяльского в людских отдавались ушах что ни на есть ненужным ломаньем, рисовкой, а главное, ломаньем вовсе неумным и особенно выводил из себя смешок моего героя — еще более чем выламыванье из себя *простака*, потому, что *простаки* в нем уживался с уму непостижимой простотою, глухотою и слепотою к что ни на есть всему; от всякого желания прислушаться к составленному о себе мнению Дарьяльского передергивало, как передергивало других его поведение. Выходило — он ломался для себя и только для себя: для кого же иного мог Дарьяльский ломаться?

Но, видит Бог, не ломался он: он думал, что работает над собой».

И вот — этакое-то исковерканное слабосилие и блудословие на соломенных ножках возжаждало вдруг окунуться в глубь русской народности. И тут, конечно, не обошлось без вывертов, без наводящей книги, без рассудочного механического подступа:

«Страшную создал, или, вернее, пережил, а еще вернее, что жизнью своею сложил правду; она была высоко нелепа, высоко невероятна: она заключалась вот в чем: снилось ему, будто в глубине родного его народа бьется народу родная и еще жизненно не пережитая старинная старина — древняя Греция.

Новый он видел свет, свет еще и в свершении с жизни обрядов греко-российской церкви. В православии, и в отсталых именно понятиях православного (т. е., по его мнению, язычествующего) мужичка видел он новый светоч в мире грядущего Грека».

Народность, Россия предстала сему Феокриту в символе рябой и неуклюжей, вечно потеющей, рыжей бабы Матрены столярихи, играющей в секте «голубей» роль «духини» — хлыстовской богородицы, что ли. Конечно, бывает и так, что

Твоя чухончка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей⁴², —

но внезапный прыжок от Тибулла и Флакка в калуцкую, либо орловскую закуту, где в фимиамах назема «косолапая баба задумалась под коровой и тонкую из рук коровью выпустила титьку; кирпичного цвета клоки вылезли из-под платка: сидит на корточках, в зубах ковыряет пальцем, причмокивают навозом толстые ее пальцы: ведьма-ведьмой!», — труден и нельзя сказать, чтобы был прельстительно изящен эстетический прыжок на дистанцию столь огромного и рискованного размера! Подробное и красноречивое описание г. Андреем Белым побудительной Матрены приведено мною в оригинале выше, но его автору мало: раз пятнадцать возвращается г. Андрей Белый к дивному образу роковой обольстительницы, чтобы украсить ее новыми и новыми прелестями: и косая-то она, и «нос-тупонос», и пятки грязные, и живот преогромный, и пр., и пр. О вкусах, конечно, не спорят, но г. Андрей Белый уж слишком перестарался с подробностями о великолепной столярихе. Право, после такой влюбленности его Дарьяльскому остается еще только один шаг преуспевания, который у Чехова в «Тине» рекомендуется: «Уж если тебе цинизма захотелось, то взял бы свинью из грязи и съел бы ее живьем!»...⁴³ Увидел Дарьяльский дивную бабу Матрену в церкви, у обедни: вот оно, оказывается, какво «греческое православие»-то у простофильских Феокритов! абие, абие, а выходит бабие! вот зачем «эстетические хамы» по обедням-то ходят!.. Уверяют, будто «Иже херувимы» их за сердце хватают и плакаты им велят, а, между прочим, просто по церкви глазами шмыгают, рябых ядреных баб высматривая. Кстати, об этой сцене — первой встрече российского Фауста-простофила с соответствующей Гретхен⁴⁴.

«Он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, выбивавшего с левого клироса барабанную дробь — и вдруг: в дальнем углу церкви заколыхался красный, белыми яблоками, платок над красной ситцевой баской; упорно посмотрела на него какая-то баба; и уже он хотел сказать про себя: “Ай, баба”, крикнуть и приосаниться, чтобы тут же, забыв все, начать класть поклоны Царице Небесной, но... не крикнул, не приосанился; и вовсе не положил поклона».

Не сдастся ли вам, что вы уже читали ее, сцену эту, в таком, примерно, варианте:

«А пойдет ли, бывало, Солоха, в праздник, в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже, верно, закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза: голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ него соседу: “Эх, добрая баба!! черт-баба!”»⁴⁵.

Увидал Дарьяльский «ай-да-бабу». Увидал и — «души его запросила рябая баба».

Так и обомлел он от великолепий ее всесовершенного безобразия. Бросил невесту, красавицу девушку, образованную и богатую барышню, умницу Катю, запил, опростился, поступил в подмастерья к столяру, хозяину бабы Матрены, пророку «голубей» и магнетизеру замечательнейшему. А «голуби» принялись Дарьяльского тренировать, как... будущего производителя некоего таинственного существа, в котором должен вочеловечиться дух, нисходящий на их радения «в виде холубине» (это и есть «Серебряный голубь»). Когда Матрена забеременеет от Дарьяльского, то «воспоследует духа рождение, восхолубление да аслабажденье хрестьянска люда». Но Дарьяльский, очевидно, слишком много сил оставил в изучении порнографической литературы на всех языках и в самостоятельном творчестве о полиелее ноздрей. Он обманул ожидания «голубей»: сколько ни подвизался он с рябою Матреной в дупле дуба, который Ивана Грозного помнит, никакой дух чрез подвиги его вочеловечиться не пожелал, почему и «восхолубление земли» не воспоследовало, и «аслабажденье хрестьянского люда» отсрочилось. А столяр Дарьяльского возненавидел, потому что — дух духом, голубь голубем и «голубино дите» — дитем, но Матрену-то к барину он возревновал. И вот — сплелась на горемычного Дарьяльского сектантская интрига, в результате коей был он «голубями» убит — из опасения предательства, но, главным образом, — приходится с сожалением признаться, — за половую непроизводительность. И все это, по совокупности, изволите ли видеть, слагает ни больше ни меньше как — Россию!

«И этот путь для него был России путем — России, в которой великое началось преображение мира или мира погибель!»

Собственно говоря, напрасно г. Андрей Белый предупреждал о том, чтобы его «голубей» не принимали за хлыстов. Если «многие» впали в эту ошибку, то, очевидно, эти многие совершенно не знакомы с русским мистическим сектантством, — иначе они никогда бы не приписали бы мертво пьянствующим чувственникам, которых изображает г. Андрей Белый, имени безусловно трезвой секты, которую народ подчеркнуто зовет чаевниками и сладкоеж-

ками. Затем: хлыстовщина русская — вся — мистицизм коллектива, одухотворенный «мир», чрез общий экстаз которого на землю свят-Дух сводится; а г. Андрей Белый нарисовал своих «голубей» такими «индивидуалистами», что даже, вон, вочеловечения Духа-то они ожидают по специальному, так сказать, заказу и выбирают для того специальных избранников-производителей — «по хлазам». «Многие» не знают того, что даже в мутной, и иногда кровавой легенде о «Христосиках», доплзшей в русскую хлыстовщину через темное средневековье, через гностическую даль, из преображенных в христианской отвлеченности культов земли плодородящей, легла основой «мирская сила», круговая порука и братская помощь святого круга. Отсюда возникал и самый свальный грех-то, в котором обвинялись внешними все подобные секты, начиная с первых экстатических христиан, продолжая тамплиерами, кончая нашими хлыстами. Справедливы ли, нет ли бывали эти обвинения, добывались ли они из фанатических фактов или из отживших суеверных преданий, но они одинаково возникали из догмата совершенной общности и единства всего коллектива верующих, логически продолжая духовный общий экстаз в плотский общий результат. В том-то и суть, что «Христосик» экстатических сект являлся как, в полном смысле слова, «мирское дите». Его плотский отец — вдохновение слепого случая. Фабрикация же случая в столь индивидуалистическом порядке, что для нее пророки даже изобретают комбинации полового подбора, приглашая на гастроли нарочного человека, извне своей верующей среды, чужака, барина, весь этот теогонический опыт — не только не в нравах народного мистического сектантства, но и резко противоречит его основному мирскому принципу. И что же избранный производитель этот — во мнении «голубей» — необыкновенный какой-либо человек, что ли, особо уважаемое лицо яркой психической силы? Ничуть. Вот разговор о нем: «— Ну, что, человека нашли? — Наметили. — Кто да кто? — Так, *лодырь из господ...*» Сочетать догматическое упование на рождение Духа и «ослабжение хрестьян» с производительностью «лодыря», то есть праздношатающегося, «из господ» — как это вяжется со страстным духом и угрюмым взыскательным бытом русских «духовных христиан»! Не знаю, где изучил их г. Андрей Белый и в какие заповедные и невероятные недра сектантства русского зарыться надо, чтобы, — воображая и сочиняя от их типического коллектива свою собственную отрасль, — серьезно наградить ее чаением будущего века от плода уродливой косноязычной бабы и прохожего лодыря. То, что изобразил г. Андрей Белый, похоже скорей на порядки Хреновского завода, чем на секту. Это — трагикомическая повесть о неудачах двуногого Гальтимора, не оправдавшего надежд, что он «освежит расу»⁴⁶.

Приключения Дарьяльского г. Андрею Белому, по эпохе, надо связать как-нибудь с революцией, с аграрными беспорядками. Поэтому его «голуби» — секта мистическая и революционная, по крайней мере по мнению местного исправника и картавого генерала Чижикова, которого автор юмористически заставляет читать прокламацию «голубей».

«Бгатия, испойниось съово Писания, ибо вгемена бызки: звество Антихавистова наопио печать на землю Божью; осени киестом, нагод пгавасьявный, ибо вгемена бызки: подними меч на съюг вейзевуовых; от них же двогање пегвые суть: огнем попяяющим пгойди по земье гусской; газумей и могись: гождается Дух Свят: кги усадьбы отчадия бесовского, ибо земля твоя, как и Дух твой...»

Но революционности своей «голуби» не успевают обнаружить, так как провиденциальное бесплодие Дарьяльского спасает отечество от сей потрясающей катастрофы, а единственная сцена, когда являются в повести мужики и шебаршат, свидетельствует либо о слабом представлении г. Андреем Белым, как эти дела в действительности делаются, либо о непременном желании цензурировать нецензурное и внести рев и вой в юмор, в самом деле, чуть не голубиново воркования. Зато, что касается уголовщины обыкновенной, г. Андрей Белый описывает «голубей» своих какими-то «тугами» индийскими: спровадить человека на тот свет им — как стакан воды выпить. На протяжении повести двое проникают в тайны «голубей» — Дарьяльский и миллионер Еропегин — и оба погибают от руки сектантов самым жалким образом. Так что, собственно говоря, даже повторяется до известной степени пресловутая немецкая история о воре, который, забравшись в дом, увидел, как на лежанке домовой задушил одинокую бабушку-старушку, и от ужаса умер на месте; старуха умерла, вор умер, а домовой скрылся, — и, вот, так навсегда и осталось загадкой: откуда же люди-то узнали все это чудесное приключение?.. И опять невольно возвращаешься мыслью на первое:

— А может быть, этого и вовсе не было?

И начинаешь искренно радоваться этой надежде, и еще раз отмечаешь с удовольствием, что г. Андрей Белый «кристаллизует» не хлыстовскую секту, а какую-то другую, свою собственную. Ибо, хотя «хлыстовство как один из ферментов религиозного брожения не адекватно существующим кристаллизованным формам», но «тугами» их рисовали покуда только Ливановы да Шардины, которых г. Андрею Белому лучше было бы оставить при лаврах их без соперничества⁴⁷. Сам Мельников-Печерский, на что был лют, не облакал хлыстов в злодейства непрерывной уголовщины и хотя сперва собирался было ввести в роман свой «На горах» сцену ритуального убийства хлыстами православной девуш-

ки, но отказался от этого намерения под влиянием архиепископа Амвросия Харьковского. Этот последний, человек, далеко не питавший нежности к сектантам, однако нашел в себе справедливость сказать знаменитому романисту, что так не бывает и что он впал в тенденциозную вредную неправду. Вообще же, Мельников-Печерский написал хлыстов людьми настолько мягкими, трезвыми, благодетельными и порядочными, что получил даже неприятности от Каткова и Любимова, редакторов «Русского вестника», где печатался роман: — Что же это у вас? — протестовали они, — как сектант, то — человек хоть куда, а как православный поп, то лихоимец и пьяница!..⁴⁸ Под влиянием этих редакционных упреков Мельников-Печерский приклеил к роману известную сцену, в которой хлыстовский пророк покушается изнасиловать Дуню Смолокурову⁴⁹. Что касается хлыстовского разврата, возможно и вполне вероятно допустить, что экстаз радений способен порождать в святом кругу половые восторги, которые иногда разрешаются отнюдь не целомудренно. Но опять-таки «ливановщиною» было бы обобщать эти случайные по существу, хотя бы и частые, «падения в грех» не только в существо, но даже как бы и в прямую цель хлыстовского общения, что делает — для «голубей» — г. Андрей Белый. Уж хоть бы он у Бонча-Бруевича, что ли, почитал бы подлинные документы, вышедшие из недр мистических сект русских!⁵⁰ Лаборатория народной религии на Руси выработала много странных и нелепых форм, которых *ошибочными* результатами являлись и преступление, и грех, но никогда народная душа не искала религии *принципиального* преступления, ожидаемого и предрасчитанного греха. Нет и не было такой народной секты, исследование которой показало бы, что соединило ее не пылающее стремление к духовному совершенству, но искание плотского разврата. И не в народе нашел г. Андрей Белый, а в кабинете интеллигента-утонченника высидел того удивительного апостола «голубей», который заманивает Дарьяльского в секту «женками с хрудами сахарными» и доступностью «Матрены Семеновны». Заманивает — кого же? Человека, в котором он предвидит плотского отца своего, в будущем, вочеловеченного божества! Это, может быть, дозволил бы себе политикан секты, иезуит ее, практический невер, обрабатывающий на почве фанатизма свои задние планы и чуждые делишки, но таких среди «голубей» г. Андрея Белого нет: все сплошь фанатики, все верят, все любят, все уповают! Какого идейного человека не отшвырнуло бы от секты грубо-откровенное приглашение: иди в нашу «веру», у нас девки хороши! А у «голубей» г. Андрея Белого все на этих соблазнах вертится. Хоть бы подумал он о том, что продолженная линия хлыстовства, которое он «кристаллизует» своими «голубями», опирается в скопчество, то есть в физическое облегчение пробле-

мы полного отрешения от полового греха; что между хлыстовщиной и скопчеством есть промежуточная секта «духовных скопцов», которая именно и зовет себя «белыми голубями». Грубый и плохой роман Мельникова-Печерского «На горах», но захват и обаяние хлыстовской психологии там куда же серьезнее, глубже и тоньше поняты. Когда хлыстовщиною увлекается чистая, целомудренная Дуня Смолокурова, читатель понимает, что свершилась великая ловитва душевная, — видит всю причинность, по которой прекрасная душа упала в расставленную сеть, потому что и приманки-то, ей расставленные, высокодуховны и достойны стремления прекрасной души. Но когда Дарьяльский — после того, как выслушал от «голубино» апостола обещания насчет Матрены Семеновны и женок с сахарными грудями, — возопил: «довольно: я — с вами!» — невольно срывается с языка резкое слово:

— Это он так-то к «народной религии» приобщается? Ах, свинья, свинья!

В «голубях» г. Андрея Белого сам автор, наконец, замечает «смесь иконописи с свинописью». Резко, но не несправедливо. Сделал он их пьяницами, сделал похабниками, сделал сладострастниками, ревнивцами, сделал трусливыми, бестолковыми убийцами: зачем? Неизвестно. И все-таки — в насильственном простофильском восторге перед ними, употребляет все старания, чтобы подчинить читателя их простофильскому обаянию. Почему? непонятно. Ах, теоретики русские! Что вы за несчастный народ такой?

Не знаю, слишком давно я не был в России, не знаю, имеет ли основание и смысл незначительная и мимоходная попытка г. Андрея Белого прицепить секту «голубей» к революционному движению и, таким образом, озарить последнее мистическим духом таинственного «Серебряного голубя», в котором-де вся и штука. Но знаю, что в этой многословнейшей и красноречивейшей повести, толкующей решительно *de omnibus rebus* * и о многом еще, развивающей действие свое в глухих деревнях и в уездном медвежьем углу, не нашлось места ни для крестьянского быта и уклада, ни для земельного вопроса. Люди г. Андрея Белого не на земле стоят, не за почву ногами и трудом держатся, но где-то в воздухе висят, воздухом, надо быть, питаются. Ничего-то им, голубчикам, как есть, не надо, кроме нисшествия «Серебряного голубя», ибо — как только Матрена придет в интересное положение, то произойдет «восхолубление земли и ослабление хрян». Так на этом «восхолублении и ослаблении» г. Андрей Белый от вопроса деревни и отъехал. Дешевенько! Остается лишь недоумевать, для

* обо всех вещах (*лат.*).

какой же цели появился на театре действия «толстый офицер, чей смирительный отряд уже с месяц стоит на постое в подлиховских селах»... Матрена не родила, а смирительный отряд все-таки понадобился! Удивительно! Зачем бы?

Это касается деревенских революционеров вне «голубино» порядка, г. Андрей Белый знает их всех превосходно и трактует весьма свысока. Все они, и эс-деки, и эс-эры, — совершенные лодыри и каналы. Они сидят по трактирам, пьяные-распьяные, невежественные, как темная ночь, дикие, как лес пустынный, и вперемежку с похабными анекдотами лишь отпускаяют коснеющими от водки голосами многозначительные фразы вроде:

— Пррредоставим небо ворробьям... и во-дррузим... кррасное знамя прррали-таррри-ата...

Да и тут этот сиволапый эс-дек был немедленно оборван и посрамлен героическим «голубем». Сей последний, ранее, занимал почтеннейшую публику непечатною пародией на некоторое житие. Но — едва услышал о «кррасном знамени пралитарриата», сейчас же вступился и «отделал»:

«— Ой-ли, а не красный ли гроб? — вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята дивиться “ехе лесной”, и все головы обратились в одну сторону; но как же сверкали глаза лиховского мещанина: “Слушайте, православные, царство Зверя приходит, и только огнем Духовным попадим Зверь сей, братия, будет ходить меж нами, красная смерть, и одно спасение огонь Духов, царство голубиное преуготовляющий нам”... Долго еще говорил лиховский обыватель, и скрылся».

Однако самый интересный из деревенских бунтарей голубино толка и тоже большой обожатель рябой Матрены — Степка, ограничил свое революционерство тем, что разбил на голове отца своего, деревенского кулака и подлеца великого, банку с вишневым вареньем; да сочинил следующую любопытную... «марсельезу», вероятно:

Ах, ты, слон, слон, слон,
Хоботарь,
Клыка Клыкович,
Тромба Тромбович,
Тромбо-ве-ельский!

Свершив этот подвиг, — больше не возвращался Степка в Целебеево никогда: знать, дни свои он упрятал в леса; быть может, там, на севере, черный, волосами обросший схимник, в кой век выходящий на дорогу, и был прежний Степка, если Степку не скосила злая казацкая пуля, или если его, связанного, в мешке, виселица не вздернула к небесам.

За что злополучного Степку должны постигнуть такие напасти, — за банку вишневого варенья? за слона-хоботаря? — Но Андрей Белый умалчивает. Имеется в «Серебряном голубе» и мистический анархист. Но это уже такой беспросветный и пошлый дурак, что за человека страшно. Прямо цирковый «рыжий» выведен на человеческое посмеяние. И имя-то г. Андрей Белый нарек ему дурацкое: Чухолка. — *Какая Чухолка?..* Очень остроумно! Генерал Чижиков будет смеяться:

— Остгяк, остгяк, ужасный автог остгяк!

Я был бы не прав, если бы забыл упомянуть в отчете о «Серебряном голубе» еще одно действующее лицо, — быть может, самое символическое во всей повести. Это — мужик Андрон, который время от времени проезжает по театру действия, причем телега его дребезжит — «дыр-дыр-ды»... Соображая известное присловие насчет едущих Андронов, право, можно подумать, что к этой дырдыкающей телеге сводится весь смысл и план обширной повести.

Редки в «Серебряном голубе» страницы, напоминающие юношескую свежесть г. Андрея Белого и сопряженные когда-то с нею литературные надежды. Два-три эпизода, подробно разработанных с наблюдательным реализмом, — лакей Евсеич, ядовитая учительница Шкуренкова и сельские вражды ее, поп, с перепоею город Карс, под треньканье жениной гитары, берущий, — предсмертное бегство Дарьяльского, — множество мелких анекдотиков, иногда верно подслушанных и метко записанных, — таков небогатый положительный багаж «Серебряного голубя». Но не нов он, багаж этот: виданы-перевиданы, слыханы-переслыханы и Евсеичи, и Шкуренковы, и пьяные попы, — и не нашлось для них у г. Андрея Белого ни новых слов, ни новых красок. Мог бы г. Андрей Белый занять читателя психологией «извращения», бросившего пресыщенца Дарьяльского в «простофильский» роман с грязною ведьмою-зверихою. Но опять-таки ничего нового он не внес в рассказ о болезненной страсти этой и анализа ее дать не сумел. Грубое падение интеллигента в животность беспримесно половой связи со времен «Обломова» пишется. У одних — робко и под вуалем, у других — смело, резко, дерзко, но — «бывало всегда, всякое бывало!» На этой арене имели успех не только большие писатели русские, но и такая, например, сравнительно малая величина, как г. Муравлин (Голицын), грубый и небрежный, но сильно и смело взятый роман которого — «Баба»⁵¹ — все время вспоминается, покуда читаешь «Серебряного голубя», — и, увы! далеко не к выгоде последнего. Притом же, г. Андрей Белый, как художник, совершенно лишенный чувства меры, сам погубил эту центральную часть повести. С одной стороны, сделал Матрену уж слишком отвратительной, так что любовные сцены ее с Дарьяльским оставляют тошнотворное впечатление какого-то унижитель-

ного павианства. С другой — поминутно спохватывается, что отвратительная Матрена — для него — народный символ, простофильская Россия, и начинает заглаживать павианство преувеличенным красноречием в самом что ни есть высоком штиле, которое никого не убедит, а всякого в зевоту вгонит: и трескуче, и скучно, и веры нет, и — сквозь духи и фимиамы — все-таки воняет! Да еще эта безысходная утомительность оригинальничанья чужими манерами и словом... Хоть бы на минутку побыл г. Андрей Белый не Гоголем, не Лесковым, не Левитовым, но самим собою. Хоть бы на минутку заставил он поверить читателя, что действующих лиц своего «Серебряного голубя» он когда-либо в жизни видел, а не сплошь их из книжек вычитал и, по книжной памяти, вообразил и сочинил. Слоится и расплзается во все стороны подражательная мозаика, и — конца краю ей нет... А чуть забрезжит впереди как будто кусочек живой правды, чуть приосанится г. Андрей Белый, чтобы открыть, наконец, *urbi et orbi*⁵², свое тайное вещее слово, зачем же он, собственно, свой огород городил и какую в нем капусту сажал, — и не тут-то было! Тпру и дырдырды!.. Стучит роковая Андропова телега, опять стучит, черт бы ее побрал, возвещая только было оживившемуся читателю:

— Дырдырды! Не жди, мой друг! Нового ничего не будет. Это опять лишь Андроны едут! Всегда — и ныне, и присно, и во веки веков одни Андроны! Дырдырды...

Fezzano,
22 декабря 1910

